

ЖИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

*

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

А. Нежный. Современный паломник.— Ирина Васюченко. Арлекин против Кощея.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Н. Бросова, Л. Лисюткина. Реабилитация здравого смысла.

Литература и искусство

СОВРЕМЕННЫЙ ПАЛОМНИК

Борис Дедюхин. Сердца сокрушенные. Рассказы из жизни современных монастырей. «Волга», 1989, № 6—9.

Хотя Русская Православная Церковь за последние два-три года стала значительно ближе обществу (или общество ей), всякое новое слово о ее современной жизни все равно еще несет в себе смысл почти открытия, вторжения в область доселе неведомого, как бы даже запретного и потому встречается с острым интересом. Тем более пространный рассказ о монастырях, напечатанный в четырех подряд номерах «Волги».

В самом деле, для советского сознания, изуродованного прокатным станом идеологии, с потерянными ощущениями присутствующей в мире тайны, с перерубленными корнями, утраченными связями, с выкошенным чувством священного, одетые в черное люди всегда представляли раздражающую загадку. Я думаю, многие из нас томилась ею, бросая, например, быстрые, жадные взгляды на насельников Троице-Сергиевой лавры и пытаюсь понять, отчего они выбрали именно этот путь, отчего захотели стать иноками, иными, отчего заточили себя в монастырь. Что побудило их уйти — какие-нибудь личные невзгоды, крушения и драмы или, может быть, нечто совершенно прозаическое: желание покоя, безбедной жизни, маленькая корысть? Обыденное сознание в лучшем случае остановится на ответах, вдоль и поперек исхоженных популярной беллетристикой, а в худшем — произнесет хорошо нам известный беспощадно-угрюмый приговор в «дикости и изуверстве».

Вот и Бориса Дедюхина, автора «Сердец сокрушенных», чрезвычайно занимает воп-

рос: почему люди совершают такой странный поступок? Можно даже сказать, что Дедюхин, посетивший четыре православных монастыря, в первую очередь и был озабочен именно тем, чтобы найти какую-то конкретную причину, которая привела этого мужчину или эту женщину в монастырь. И он без устали вызнает, выпытывает, выспрашивает, ловит собеседников на слове, на выражении лица — и всякий раз, когда находит нечто удобопонятное, кажется мне, с облегчением переводит дух. В Псково-Печерском монастыре Дедюхин приступил сначала к привратнику иноку Евлогию, затем настала очередь библиотекаря игумена Тавриона, в которого автор, по собственному признанию, просто «вцепился». Появляются перед нами иеродьякон Герман («...он безусловно красив, с такой внешностью в миру он, очевидно, пользовался среди женщин несомненным успехом... И что же привело Германа... в монастырь?»), экононом монастыря, иеромонах Филарет, послушник Александр, который в ответ на неизбежный уже, как рок, вопрос Дедюхина потрясает нас оперным речитативом: «Да, я навсегда бросил тот мир, в котором родился и вырос, испытал мгновения счастья и годы тоски и разочарования, первую любовь и крушение юношеских идеалов». Однако Дедюхин, словно змий, некогда соблаздивший Еву, продолжает допрашивать бедного послушника: «Не раскаиваешься, хотя бы временами? Не посещают ли вопросы: правильно ли поступил...» Так и хочется сказать ему: «Отстань от человека». (Хотя беседа с Александром оказалась пло-

дотворной: послушник обмолвился, что вместо отца у него был отчим, и Дедюхин с удовлетворением заключил: «Вот одна из причин».)

Мне кажется, Дедюхин даже по завершении предпринятого им паломничества не сумел освободиться от свойственной многим из нас уверенности, что можно установить причинно-следственные связи любого феномена бытия. Есть между тем исчерпывающий ответ, мимо которого журналист как человек, несомненно симпатизирующий церкви, но, судя по всему, неверующий, не раз проходил в каждом из четырех монастырей. Особенно внятно сказала ему настоятельница Пюхтицкого Успенского женского монастыря игуменья Варвара: «Монахом становится тот, кто призван к этому, кто на это способен». И все! И никаких более вопросов, ибо всякий имеющий уши услышит, что в монастырь приводит призвание. Конечно, человек может и обознаться, приняв, к примеру, тоску неразделенного чувства, маету не нашедшей себя души или отчаяние от слишком уж сильно сжавшихся тисков жизни за верное доказательство своей несовместимости с миром. Но в таком случае горько будет его пробуждение на монастырской каторге. (Она настоящая каторга, монастырская жизнь, каторга, радостная лишь для тех, кому всякая иная участь будет во сто крат тяжелей.) «Для истинного монаха,— наставлял старец Киево-Печерской лавры иеросхимонах Парфений,— не существует никто и ничто на земле. Его радость и наслаждение — непрестанная молитва. Он любит всех людей, но скучает с ними, потому что они отлучают его от Бога». В монастырь зовет Бог — и, право, могут ли встать в ряд с этим поистине грандиозным событием наши житейские печали?

Кому-то, наверное, может показаться, что я чересчур строг к Дедюхину, упрекнув в том, что я совсем не ценю его трудов, которыми он поднял такую тему. Напротив: чрезвычайно ценю — как всякую попытку дать обществу сумму положительных знаний о Русской Православной Церкви, ее обителях (и в этом отношении мне представляется наиболее удачным рассказ об Оптиной пустыни с его добросовестной исторической основой) и, рассуждая шире, как спасительное стремление привить нашему изрядно одичавшему сердцу побег религиозного умиления. Ибо, как сказал Ф. М. Достоевский, «горе обществу, не имеющему религиозного умиления».

Конечно, монахи тоже люди. Иные из них являют собой драгоценнейшие слитки

жалости, доброты, глубокого человековедения и деятельного милосердия, а иные, как кипятком, обдают тебя таким диким фанатизмом, такой нетерпимостью, таким яростным блеском в глазах, что поневоле начинаешь задумываться об их нарушенном душевном равновесии. Иные полны неподдельного покаяния, а иные едва ли не сразу же после поступления в монастырь воображают себя старцами и непременно хотят учить. Иные носят монашество как крест, а иные — как орден. Иные страдают миру и молятся за него, а иные с некоторой даже брезгливостью стремятся отрясти его прах с подошв своих сапог. Но все-таки монахи — народ особенный, и современный паломник-литератор должен, мне кажется, спокойно признать, что его задача — без всяких выпытываний, догадок, поспешных умозаключений, с возможно более высокой степенью достоверности показать, что происходит за монастырскими стенами сейчас, на исходе второго тысячелетия новой эры. И если мы признаем наконец в монастыре органичную составную народную жизни, образ иного, нам еще непривычного, но освященного исторической традицией бытия, неложное свидетельство неисследимой глубины человеческого сердца, то сколь тщательны должны мы быть в выборе слов, их звучаний и смыслов, сколь чутки к малейшей неточности и сколь нетерпимы даже к тени неправды и фальши! За слишком важное дело взялся Дедюхин, важное и в нашей литературе все еще новое, — вот почему с досадой я вынужден отметить как чисто художественные промахи «Сердце сокрушенных», так и куда более опасные прегрешения против правды. Когда, например, вместо более свойственной всей речи повествования, простой и вполне подходящей даже и для монастыря «ладони» вдруг выскакивает «длань»; когда уже знакомый нам привратник Евлогий, в миру шофер и слесарь, внезапно начинает изъясняться красиво: «Вот и отвратил я лицо свое навсегда от житья блудного...»; когда автор затевает довольно невнятное рассуждение о способах поддержания физического здоровья, ссылаясь при этом на монашеский образ жизни, но одновременно и ограждаясь: «...я не агитирую за веру в Христа и его воскресение как за панацею — универсальное лекарство при всех болезнях» (поразительно, что паломничество не внушило Дедюхину стойкого отвращения ко всякой ерунде вроде связи лечебного голодания с «христианскими очищающими постами»); и когда, наконец, замечаешь, что пюхтицкая настоятельница,

игуменя Варвара, иконописец игумен Зинов, наместник Оптиной пустыни архимандрит Евлогий, другие монахи и монахини говорят на один манер, будто держат перед глазами заранее приготовленный для них текст, — то, разумеется, все это изрядно мешает нашему соучастию в паломничестве.

Вообще многое удивляет в «Сердцах сокрушенных». Разве только «сталинский каток репрессий» прошелся по Русской Православной Церкви? (Да ведь и не репрессии это были — война, которую атеистическое государство вело против Бога.) К 1921 году уже пролилась кровь сотен новых мучеников, уже были закрыты шесть с лишним сот монастырей, и Патриарх Тихон уже сказал свое вещее слово: «Мы захотели создать рай на земле, но без Бога и Его святых заветов. Бог же поругаем не бывает. И вот мы алчем, жаждем и наготуем на земле, благословенной обильными дарами природы, и печать проклятия легла на самый народный труд и на все начинания рук наших». Разве можно назвать мать Марию (Кузьмину-Караваеву) кумиром насельниц Пюхтицкой обители? И вовсе не потому, что она недостойна подражания, а потому, что монахини — в отличие от журналиста — знают Священное Писание, в котором сказано: «Не делай себе кумира... Ибо Господь, Бог твой, есть огонь поядающий, Бог ревнитель». И разве кто-нибудь из православных воспринимает «старообрядческое двуперстие» как «ересь»? Не будем говорить о том, что реформы Патриарха Никона не выдерживают объективной исторической критики; напомним, однако, что в 1971 году Поместный Собор Русской Православной Церкви снял со старообрядцев клятвы XVII века и признал двуперстие равночестным трехперстию.

Мне кажется, пафос «Сердец сокрушенных» станет особенно понятен в свете переживаемого нами сегодня события, которое — весьма, правда, условно — можно назвать возвращением блудного сына. Блудный сын спешит ныне к отцу не только потому, что бездарно прожил свою «часть имения», вынужден пасти свиней и мечтает досыта наестся хотя бы «рожками», из которых варят для них пойло; не только нищета и голод гонят его, но и страх потерять образ человеческий, ужас перед духовной смертью и еще не убитое до конца отвращение перед ложью, мало-помалу выедающей из него душу. Но хватит ли у него сил для искреннего и глубокого покаяния? Хватит ли мужества последовать призыву Патриарха Тихона и признаться,

что грех — на нем, что он сам, поддавшись соблазну, ушел от отца? И отвергнет ли льстецов, уже кидających наперебой внушить ему, что он, собственно, тут как бы и ни при чем, что ему необязательно казнить себя раскаянием и что его, если вникнуть, у вели из отчего дома?

Лишь поверхностному или — что, вероятно, одно и то же — необратимо секуляризованному уму религиозный вопрос кажется второстепенным, обособленным от социально-хозяйственной жизни и потому не имеющим того значения, какое, к примеру, придается всеобъемлющей экономической реформе. Можно показать, что это совсем не так, сославшись хотя бы на Западную Европу. Ибо все, чем она заслуженно гордится перед нами — политические свободы, свобода совести, права человека, экономическое благоденствие, — все это имеет глубокие религиозные корни. (Свою привязанность к ним минувшее столетие, по-видимому, осознало не до конца; но зато наш век в полной мере ощутил, откуда берет человечество возможность жить и расти.) Религия создает личность, личность — общество и государство. Я не говорю уж о том, что заповеданные нам заботы о природе и всей сущей в ней твари, о плодах земли и человеческом благе без духовной санкции — и мы вполне убедились в этом на примере нашего хозяйственного крушения — будут лишены надежного основания. Вот почему религиозный вопрос, я убежден в этом, — первый вопрос наших дней и вот почему не дай нам Бог уклониться в какое-нибудь ложное его решение.

А такая опасность есть. Можно привести в пример заметное в последнее время стремление того же телевидения принизить сакральное до уровня массового сознания, включить его в поп-искусство, шлягер, сделать частью моды. Или, обратившись к делам писательским, можно показать, что свойственное сейчас многим литераторам желание говорить о деятелях церкви исключительно в самых возвышенных тонах и с каждого из них писать чуть ли не икону представляет собой как бы обратную сторону того угрюмо-разрушительного отношения к религии, в котором советский человек последовательно воспитывался семь десятилетий подряд.

В «Сердцах сокрушенных» есть сцена появления в Оптиной пустыни епископа Владимирского и Суздальского Валентина. Архиерей приехал на «Волге», сам сидел за рулем (из чего, вероятно, следует, что автомобиль собственный), и Дедюхин, вначале принявший его за «обыкновенного

туриста», затем присмотрелся и обнаружил, что едва, как говорится, не дал маху. «...я отметил у него характерное выражение внутренней напряженности, которая свойственна людям, привыкшим к самоограничению и удержанию страстей во имя правильности избранного пути». Поражает не столько выпренность суждения и даже не столько необыкновенная пронизательность Дедюхина, сумевшего со второго взгляда проникнуть в самую суть личности епископа (тем более что примеров подобного ясновидения в «Сердцах сокрушенных» пре-

достаточно), сколько потрясающая готовность автора немедленно поставить знак равенства между высотой сана и свойствами человека.

Вопрос, разумеется, не только и не столько в этом. Вопрос, как я его особенно понял после чтения «Сердце сокрушенных», в том, что в нашу литературу входит, уже вошла совершенно новая, сложная и значительнейшая тема. Уровень ее постижения должен быть ей соразмерен.

А. НЕЖНЫЙ.



АРЛЕКИН ПРОТИВ КОЩЕЯ

Сигизмунд Кржижановский. Воспоминания о будущем. Избранное из
неизданного. М. «Московский рабочий». 1989. 403 стр.

«Бытие пусть себе определяет сознание, но сознание не согласно». Сигизмунд Кржижановский, произнесший эти такие вроде бы задорно современные слова, умер в 1950 году в бедности и безвестности. Правда, иные авторитетные ценители той поры называли его писателем европейской величины, Гулливером среди лилипутов. Но Гулливеры всегда неудобны, а уж в несокрушимом лилипутском строю смотрятся совсем плохо. Поэтому не диво, что Кржижановскому при жизни удалось напечатать лишь одну повесть и несколько рассказов, да и те не вызвали широкого отклика. Изысканная и прихотливая, отражающая сложную работу мысли, эта проза требовала от не приученной к подобному аудитории слишком больших ответных усилий духа.

Она требует их и сегодня. Подобно самому Сигизмунду Доминиковичу, который никогда ни с кем не переходил на «ты», его книга своеобразна и полна достоинств, но общедоступность не из их числа. Возвращая литературе «прозванного гения», В. Перельмутер, составитель сборника, автор предисловия и комментариев, похоже, не ждет, что эта встреча станет триумфом. Рассказывая об удивительной личности писателя, его горькой судьбе и «странной прозе», он так заботливо взвешивает каждое слово, что сама эта тщательность вызывает тревогу.

Между тем нынешние читатели в массе лучше подготовлены к восприятию творческой манеры Кржижановского. На исходе XX столетия она уже кажется едва ли не классической, внушает множество до смешного разнообразных литературных ассоциаций. Некогда Шенгели сравнивал

Кржижановского с Эдгаром По и Александром Грином. В. Перельмутер, не без оснований причисляя писателя к гоголевскому направлению русской словесности, вместе с тем отмечает его родство с Кафкой, Борхесом, Камю, Честертонем, а заглядывая в более отдаленное прошлое, поминает Свифта и Гофмана. Возможны и другие параллели: скажем, мне проза Кржижановского напомнила философские повести французского XVIII века, театр Блока, черный юмор поэтов-сюрреалистов...

Правомерность любого из уподоблений нетрудно доказать, но сравнение с тем, что знакомо, не лучший способ проникнуть в суть мировидения писателя. Он, напоминающий столь многих, ни на кого не похож. Звучит как парадокс, но говоря о Кржижановском, трудно обойтись без парадоксов. Это его стихия как художника и мыслителя, причастного к «титаническому спору» философских учений.

Философия Кржижановского, его отношение к категориям случайности и закономерности, мнимого и сущего и прочему — тема, требующая отдельного исследования, ее лучше оставить в стороне, чем подвергать опасности торопливого упрощения. Сам Сигизмунд Доминикович признавался, что к писательству его привело сомнение в возможностях умозрительного познания мира, желание «подать апелляцию на понятия суду образов». Подчиненный замысловатой процедуре такого суда, писатель как бы претендует на документальность; скажем, повествование «Итанесиэс», поэтичной легенды о странствиях «дивного народа», искавшего обетованную страну гармонии и тишины, начинается почти научной ссылкой на некий источник — «Азбуковник». И при